

Уехал Межиров. По совокупности

Межиров уехал (раньше говорили: эмигрировал). Живет в Нью-Йорке. Несколькими годами. Жизнь внешне благополучная. Но, кажется, ему не слишком хорошо, даже если отвлечься от возраста, от очень старых, полученных в Великую Отечественную, ран, на которые Межиров никогда не жаловался. От бессонницы. Нью-Йорк, по его словам, создан, «чтоб человечество со стороны взглянуло на себя и ужаснулось». (Что ж, поэт и прежде бранил Корбюзье). И дальше: в тех же стихах: «Здесь жить нельзя...» Почему же уехал Межиров? По совокупности обстоятельств, среди которых были роковые, трагические. Он оказался наедине с крупными житейскими неприятностями, будучи при этом в центре слоистого приятельского круга. Подробности интереса не представляют.

После отъезда Межинова появились порочащие его статьи, написанные бывшими учениками, пажами, поклонниками. Неточные оценки и вымысел, признания в дружбе и неприязнь. Общую честь нашу спас Миша Поздняев, поэт благородный и совестливый. Он написал: в том, что уехал Межиров, виноваты мы все. Как не согласиться. Я, например, думал, что я ему ближе других, а узнал о его злоключении последним. Это очень стыдно.

Межиров - наш крупнейший поэт 40 - 80-х годов. Публике во все времена были милее те, кто не избежал, по словам Пушкина, сентиментальности манерной, но цена им известна. Межиров - яркий пример художественного бескорыстия, признанный учитель не слишком удачливого, но не бездарного поколения.

«...Как ждет любовник молодой минуты верного свиданья.» Догадываетесь, что значит «верное»? Это когда заранее известно, что все-все произойдет. Так вот, кто-то сказал, что ради беседы с Межировым можно пожертвовать даже верным свиданием. Редко о ком услышишь такое.

Сегодня, тоскуя по Межирову, я держу в руках книгу его стихов, только что вышедшую. Не в Нью-Йорке - в Москве. Это вроде бы сигнал. Составила сборник, тоже тоскуя по Межирову, Татьяна Бек. И удачно. Три раздела. Первый для молодого читателя: не новое-лучшее. Затем, лучшее-новое. И новая поэма «По-земка», идейный стержень, по ней названа книга. Межирову за семьдесят. Когда-то он написал хлестко, по-марциаловски: «До тридцати поэтом быть почетно, и срам кромешный - после тридцати». Сегодня он не то чтобы опроверг, прибавил - с дивным звуком: «Мог ли я предположить, что придется долго жить, что так долго будет длиться жизнь и долго будет петь мне дарованная птица, недопойманная в сеть?»

Из новых стихов Межинова ясно, что он, на другом континенте, продолжает жить Россией: «Может родина сына обидеть или даже камнями побить. Можно родину возненавидеть - невозможно ее разлюбить». А дальше - московское: «От почти прямого, чуть-чуть кривого переулочка Лебяжьего случаем отлучен...», грустное развитие раздумий о родине Ходасевича и Пастернака, русских гениев, рожденных от нерусских матерей. «Из освещенных городов опять вернуться я готов в район Солянки и Покровки...» На Солянке у Межинова было по комнате в двух густонаселенных коммунальках, далекое время!..

Знаю, что Межиров не ценит свои прозаические опыты. Так у поэтов бывает. Тем не менее крохотный очерк о времени и о себе, предлагаемый читателю, - плод кропотливой работы: филигрань формы, правда и простота.

Александр Петрович, привет!

Владимир ПРИХОДЬКО.

Александр МЕЖИРОВ

Дом, в котором я родился...

В бумагах покойного отца я нашел два неотправленных письма 45-го года. Вот выдержки из них: «После получения Вашего письма меня уже тревожит не только судьба молодого поэта Александра Межинова... Что суждено этой молодой, не лишенной талантов (не знаю точно в каких областях) шеренге человечества, хлебнувшей в свои юные годы так много горя и трагически дезориентированной».

Последние два слова отец зачеркнул блеклым карандашом по лиловым чернилам.

Второе неотправленное письмо кончалось цитатой из Герцена: «Дикая, свежая мощь распахнет в молодой груди юных народов, и начнется круг событий и третий том всеобщей истории. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден...».

И Герцен был вычеркнут отцом. Может быть, в конечном итоге купюры лишили смысла отправку писем.

Дом, в котором я родился и рос, и теперь стоит на берегу Москвы-реки, окнами на Кремлевскую набережную и Лебяжий переулочек. На другом берегу - Замоскворечье, Болотный рынок, Кадашевские бани, купеческие особняки в тихих переулках, особый, еще не разбавленный замоскворецкий говорок. Помню старый Каменный мост, его деревянные пролеты, храм Христа Спасителя, в который вводила меня няня, боясь оставить на мраморных плитах площади. В этом храме она совсем тихо подпевала хору, по своему молилась. Помню, как храм взорвали. Видел с крыши котовского доходного дома, еще ничего не понимая.

Помню, как на противоположном берегу начали строить большой серый дом. Когда строили, он загорелся. Пожар был дымный, тяжелый. Его погасили довольно быстро. Но долго не покидала берега реки конная милиция. Потом в этом сером, хмуром доме (правительства) появился детский кинотеатр. Там я впервые увидел живого поэта. Это был Владимир Луговской. Могучим голосом он читал что-

то ошеломляюще прекрасное. Неожиданно няня, сидящая рядом со мной, сказала: «Хорошо поет, должно из храма перешел».

Еще помню войну. Вмерзший в лед блокированный Ленинград. Окопы на Пулковских высотах, блиндажи и землянки в железнодорожных насыпях, рубежи под Синявином, в болотах, где землянки рыть нельзя, потому что под снегом незамерзающая вода. Костры и шалаши. Засыпая у костров на снегу, мы во сне инстинктивно ползли к огню и вскакивали, когда загорались шинели. Помню разведку боем под деревней Коколево, хотя не хочу вспоминать о ней. «Дай оглянуться, там мои могилы...» (И. Эренбург).

Конечно, на войне было тяжело. Но в 42-м году Сергей Наровчатов написал стихи о том, что после войны нам будет тяжелее. Его никто не услышал. Он же, еще раньше, на Финской, писал:

Но кажутся кривые сучья сосен
Вопросами - зачем и почему...

Зачем все это... Он погиб. Погиб значительно позже.

В нашей коммунальной квартире была прикухонная комнатка. В ней жил мастер Ромашкин с большой семьей. Все они спали на нарах. В 47-м году отец рассказал мне, что когда я был на войне, Ромашкина на несколько часов арестовали.

Началась первая бомбежка Москвы. Было темно, Ромашкин выскочил в переулочек и начал кричать: «Где же они, соколы Железкина? (Так он называл Сталина). Я-то знал, - кричал Ромашкин, - что у Железкина самолетов только на Тушинский парад, чтоб иностранцев напугать». Его схватили прямо в переулочке. Повезли в тюрьму. Но в нее попала бомба. Ромашкин вернулся на нары домой.

Странная это история. Особенно если сравнивать ее со стихами самых крупных поэтов тех лет.

Ромашкина после войны я почему-то на Лебяжьем не встречал. А теперь все умерли, и спросить о нем не у кого.

И еще помню свои литературные читательские приключения. Конечно, они были субъективны, возбуждены к произрастанию особливостью вкуса. В силу особливости



этой мне казалось, что на русскую и мировую поэзию оказала влияние исключительная глубина ритмического дыхания Маяковского, свойство великих поэтов, а не отклик Сталина на письмо покойной Л. Брик. Но о вкусах не спорят.

На снимке: Александр Межиров. Москва, 60-е годы.

моск. правда - 1994 - 8 мая - с 4.

Межиров Александр

В. 05. 94.